

Призрак цезаризма и четвертое измерение демократии

ROSANVALLON P. (2015). LE BON GOUVERNEMENT. PARIS: SEUIL. 416 P. (LES LIVRES DU NOUVEAU MONDE).
ISBN 978-2-02-122422-1

Евгений Блинов

Ассоциированный сотрудник ERRAPHIS, Университет Тулузы 2

Адрес: Pavillon de la Recherche, Bureau RE 205, 5,

allées Antonio Machado F-31058, Toulouse cedex 9, France

E-mail: moderator1979@hotmail.com

«Наши политические режимы называют себя демократическими, но нами не управляют демократическим путем. Сегодня именно это вопиющее несоответствие разочаровывает и приводит в смятение» (р. 9) — Пьер Розанваллон начинает свою новую книгу с указания на главную болевую точку современных демократий. Демократию до сих пор рассматривали исключительно как политический режим, настало время проанализировать ее как особый способ организации правления (*gouvernement*), который подразумевает переосмысление роли исполнительной власти¹ <правительства>. И проблема современных демократических режимов, по мнению одного из наиболее авторитетных политических мыслителей Франции, состоит не только и не столько в том, что они плохо функционируют как режимы народного суверенитета, т. е. не выражают волю избирателей, а в том, что они плохо управляют. Политическая жизнь не ограничивается созданием институтов

1. Перевод французского названия книги «Bon gouvernement» (BG) на русский достаточно проблематичен с учетом полисемичности французского «gouvernement». Это одновременно отсылка к европейской традиции трактатов «О правлении» (ср., например, устоявшийся русский перевод политических трактатов Локка) и рассуждение о функциях исполнительной власти, т. е. о правительстве в смысле кабинета министров (и невозможность буквального применения принципа разделения властей к французской модели, которую описывает Розанваллон). Поэтому в контексте аллюзии на «зерцала принцев» и «трактаты о правлении» его можно переводить как «Достойное (подобающее) правление», а в контексте дебатов «долгого XIX века» о разделении властей как «хорошее правительство». Дополнительную сложность вносит введенный Фуко технический термин «gouvernementalité» (см.: Foucault M. [2004]. La naissance de la biopolitique: cours au Collège de France, 1978–1979. Paris, Gallimard; рус. пер.: Фуко М. [2010]. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / Пер. с франц. А. В. Дьякова. СПб.: Наука), который обозначает одновременно и «техники власти», и «техники управления» в современном смысле слова и не имеет точного русского аналога. Этот термин мы считаем уместным переводить как «гouvernementальность».

определенного типа, она состоит в повседневном осуществлении власти и форме правления, основанных на «общих интересах» (*chose publique*)². В начале XXI века требования демократизации общественной жизни смещаются из области политических институтов в область управления, поэтому для Розанваллона главная (хотя и чисто функциональная) дихотомия современных политических режимов не избиратели/избранные, а управляемые/управляющие. Но при этом, как утверждает автор, внятной теории отношений между управляемыми и управляющими в условиях трансформации современных демократий до сих пор не существует. Более того, новые способы управления обществом становятся вызовом традиционной демократии, которая с конца XVIII века понималась как «парламентски-репрезентативная». Брюно Латур в начале 2000-х годов искал способ «привить демократию наукам»³, Розанваллон ставит перед собой похожую задачу: как «привить» демократию науке об управлении, которая в технократической перспективе становится чем-то вроде метанауки об обществе или даже *philosophia prima* социального.

Известность Розанваллону принесли исторические исследования генезиса французской политической модели, но рассматриваемая книга — ВГ — посвящена скорее управленческому кризису современных демократий. При этом автор, как всегда, точен в исторической диагностике институциональных проблем, и, как нам кажется, его исторический анализ куда более убедителен, чем предлагаемые им рецепты выхода из кризиса. В ряде своих прошлых работ он рассматривал эволюцию «демократии-гражданства»⁴, демократии как политического режима⁵ и, наконец, демократии как формы общества⁶. Новая книга, намекает автор, может стать началом нового цикла, посвящена анализу того, что он называет «четвертым измерением» демократии, — проблеме «демократии-правительства». Ее название, которое, как мы уже отметили, можно перевести как «Достойное правление», содержит явную отсылку к европейской средневековой традиции составления «зерцал для принцев» (*miroirs de princes*), особых трактатов по этике и практике правления, предназначенных для первых лиц государства. И это обращение к «правителям», а не к народу или избранному им парламенту весьма симптоматично.

2. Один из примеров употребления Розанваллоном архаизирующей лексики «*Chose publique*» является французской калькой с латинского «*Res Publica*» (ср. англ. «*Commonwealth*» и пол. «*Rzeczpospolita*»). Она также может означать как «общий интерес» в узком смысле («*intérêt général*»), так и форму правления, которая исходит из «общих интересов», а не из интересов группы лиц.

3. См.: *Latour B.* (2000). *Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie*. Paris: Découverte.

4. *Rosanvallon P.* (1992). *Le Sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France*. Paris: Gallimard.

5. *Rosanvallon P.* (1998). *Le Peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France*. Paris: Gallimard; *Rosanvallon P.* (2000). *La Démocratie inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France*. Paris: Gallimard; *Rosanvallon P.* (2008). *La Légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité*. Paris: Seuil.

6. *Rosanvallon P.* (2011). *La Société des égaux*. Paris: Seuil (рус. пер.: *Розанваллон П.* [2014]. *Общество равных / Пер. с франц. Н. Богдановой. М.: Московская школа гражданского просвещения*).

Смена парадигмы означает провозглашение приоритета исполнительной власти над законодательной, в чем Розанваллон видит радикальный идеологический разрыв с традицией, восходящей к Французской революции. В институциональном плане он выражается в переходе от «парламентско-репрезентативной» модели к «президентско-правительственной» (*présidentiel-gouvernant*), образцовым примером которой служит голлистская конституция Пятой республики. Эта президентализация демократий, как стремится показать Розанваллон, является не национальной «аномалией» или выражением французской исключительности, а основной тенденцией мировой политики. Для иллюстрации этого тезиса он использует свой излюбленный прием, рассматривая институциональные и концептуальные трансформации в перспективе «долгой истории» (именно в этом, по мнению Розанваллона, состоял «гений Токвиля»⁷, а полемика с автором «Демократии в Америке» по вопросам централизма занимает особое место в его работах).

Первая часть ВГ посвящена «проблематичной» истории исполнительной власти. Основное отличие французской революционной модели от англо-американской, так или иначе воспроизводимой во всех последующих режимах, состояло в том, что ей никак не удавалось не только достичь равновесия между исполнительной и законодательной ветвями власти, но даже найти четкие критерии их разделения. «Демократический идеал состоит в том, что организация общества осуществляется исключительно людьми» (р. 37), т. е. правила политического общежития исходят от «народа-законодателя», который утверждает «общую волю» в ряде простых и не противоречащих природе законов. Этот принцип подразумевает всеобщую «десубъективацию» и «деперсонализацию» власти, которая целиком сосредоточена в Национальной Ассамблее, тогда как «исполнительная» власть короля и министров не является «властью» в собственном смысле слова⁸. Революционный идеал «механической» исполнительной власти в наиболее радикальной форме выразил Кондорсе, выдвинув идею «короля-машины», реализацию которой он связывал с прогрессом науки об автоматах. Как подчеркивает Розанваллон, хотя идеал безличной власти закона вступал в противоречие с идеологией бонапартизма, он парадоксальным образом сосуществовал с ней на протяжении всего XIX века.

7. См., например: *Rosanvallon P.* (2004). *Le Modèle politique français: la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours.* Paris: Seuil. P. 114.

8. В этом контексте необходимо рассматривать и развитие Лениным гипотезы Маркса о «неполитическом государстве», т. е. о неизбежности постепенного отмирания государства, в процессе которого оно утрачивает функцию суверенитета и становится чисто техническим органом «учета и контроля»: «Когда государство сводится в главнейшей части его функций к такому учету и контролю со стороны самих рабочих, тогда оно перестает быть „политическим государством“, тогда „общественные функции превращаются из политических в простые административные функции“» (*Ленин В. И.* [1962]. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Государственное издание политической литературы. С. 101).

Основным фактором, повлиявшим на реабилитацию исполнительной власти, стала новая «задача управления массами», выходящая на первый план после введения всеобщего избирательного права для мужчин в Третьей республике, а также на фоне стремительного роста профсоюзных движений. В последнее десятилетие XIX века во Франции зарождается особое направление социальных наук, специализирующееся на «психологии масс», связанное с именами Тарда и Ле Бона. Розанваллон особенно отмечает влияние последнего как на второе поколение «отцов Третьей республики», так и на будущих «вождей»: Муссолини, Ленина, Гитлера и де Голля. При этом он, в отличие от многих апологетов классического парламентаризма, комментаторов, не считает Ле Бона кем-то вроде «Макиавелли эпохи толпы», подчеркивая, что его позиция лишена цинизма и отвечает объективной необходимости специфической «техники управления» в новых политических условиях. Массовая мобилизация и рост милитаристских настроений, подчеркивает Розанваллон, совершенно объективно способствовали формированию «культы вождей». Европа вступает в «новый век волюнтаризма»: в период между мировыми войнами осуществляется переход от «номократии» к «телеократии». Что подразумевает, с одной стороны, развитие наук об управлении (термины «технократия» и «администрирование» вводятся в оборот именно в этот период), а с другой — общую «брутализацию» военизированных и революционных режимов. Этот процесс сопровождается растущим разочарованием в представительских институтах, хотя, как меланхолически замечает Розанваллон, вся «история демократии это история разочарования, нераздельно связанная с ее завоеваниями» (р. 75).

Идеология волюнтаризма в военные годы оформляется в особый правовой режим «исключительного состояния» (*état d'exception*)⁹, который непосредственно связан с новыми функциями исполнительной власти. Само по себе «исключительное состояние», подразумевающее временную отмену прав и свобод, не только

9. Распространенный русский перевод «*état d'exception*» как «чрезвычайное положение» является неточным именно в отношении французской терминологии (см., например, перевод агамбеновского «*Stato di eccezione*»: Агамбен Д. [2011]. *Homo sacer*. Чрезвычайное положение / Пер. с ит. М. Велижева, И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова. М.: Европа; см. также: *Derrida J.* [2008]. *La bête et le souverain*. Vol. 1: 2001–2002. Paris: Gallilé). Мы выбрали перевод крайне полисемичного французского «*état*» как «состояние» из соображений симметрии. «Исключительное состояние» является общим термином, обозначающим приостановку действия законов, т. е. «нормального правового состояния» (*état de droit*), тогда как «чрезвычайное положение» (*état d'urgence*) обозначает конкретный юридический режим, наравне с «военным положением» (*état de guerre*), более ранним «осадным положением» (*état de siège*) или, например, «режимом КТО». Об историческом аспекте «парадигмы исключения» и ее современных трактовках см. обзорную статью Бернара Манана (*Manan B.* [2008]. *The Emergency Paradigm and the New Terrorism* // Baume S., Fontana B. (eds). *Les Usages de la Séparation des Pouvoirs / The Uses of the Separation of Powers*. Paris: Michel Houdiard. P. 135–171). Современные русские переводы, по-видимому, ориентируются на шмиттовское «*Ausnahmezustand*», однако в немецком языке нет разделения между «исключительным состоянием» и «чрезвычайным положением» (во французском переводе «*Политической теологии*» Шмитта «*Ausnahmezustand*» переведен как «*situation exceptionnelle*» в виде компромисса между двумя терминами (*Schmitt C.* [1988]. *Théologie politique*. Paris: Gallimard. P. 15). В связи с этим любопытно отметить, что в дореволюционном русском юридическом лексиконе выражение «исключительное положение» существовало (см.: *Гессен В. М.* [1908]. *Исключительное положение*. СПб.: Право), однако оно практически исчезло в советский период.

совместимо с демократией, но и, как показывает Розанваллон, возникает вместе с демократическими режимами древности. Римская «диктатура» происходит от латинского «dictare» (диктовать) и означает вынужденный выход за пределы правового поля в ситуации, когда граждане обязаны подчиняться устным приказам назначенного Сенатом «диктатора», а не письменному своду законов. Однако римский диктатор не являлся сувереном в современном понимании слова, так как не был наделен главным правом суверена — изменять существующие законы. Римская «диктатура» была особым защитным механизмом демократии, а не политическим режимом. Политические мыслители модерна, развивая свою мысль Розанваллон, оказались не способны описать функции и место исполнительной власти¹⁰, поэтому процесс конституционализации «исключительного состояния» принял столь драматичный оборот.

Первым подобным прецедентом стал принятый во время событий 1848 года французский закон об «осадном положении», который буквально потряс Европу и изменил направление юридической мысли второй половины XIX века. Вторая волна пришлась на Первую мировую, когда соответствующее законодательство появилось во всех втянутых в мировой конфликт странах. Но идея наделения исполнительной власти чрезвычайными полномочиями не отошла на второй план после окончания Мировой войны, напротив, она породила многочисленные «децизионистские» доктрины, хрестоматийным примером которых стала «суверенная диктатура» Карла Шмитта. Именно Шмитт, по мнению Розанваллона, первым юридически обосновал фундаментальное различие между диктатурой «древних» и «современных». «Суверенная диктатура» не «приостанавливает» на время действие конституции в исключительных обстоятельствах ради сохранения существующего строя, а использует свои полномочия для учреждения нового порядка. Розанваллон обращает внимание на тот факт, что Шмитт был внимательным читателем Сийеса и именно у него позаимствовал идею о надынституциональном суверенитете народа и приоритете национальной и учредительной («конституирующей») воли над любой из существующих правовых форм. Но если для отцов-основателей Первой республики, чьи политические идеалы сформировались в философской и правовой культуре Просвещения, органом выражения этой воли была Национальная Ассамблея (термин, предложенный Сийесом), то для теоретиков нового порядка, воспитанных на волюнтаристских и виталистических доктринах начала XX века, «суверенная диктатура» (народа или пролетариата) утверждалась за счет отрицания парламентаризма.

Это дает Розанваллону повод провести не самую очевидную (хотя и крайне важную для замысла книги) параллель между шмиттовской «суверенной диктатурой» и концепцией «суверенной демократии», сформулированной, по его оценке, «в России и других странах постсоветского блока» в начале двухтысячных годов (р. 108). Он рассматривает ее как новую разновидность авторитарной идеологии,

10. Локк с его учением о «прерогативе» был заметным исключением (р. 101).

но при этом генетически связанную с трансформацией демократий во второй половине XX века. Розанваллон подчеркивает, что этот новый авторитаризм следует общей тенденции президенциализации демократий и стремится использовать возможности, заложенные в парадигмальной «голландской» модели с ее «сверхлегитимным» президентом. По этой причине ни постсоветские республики, ни Турция, ни Россия, ни левопопулистские движения в Южной Америке не только не пытаются ограничить и или отменить выборы, а, напротив, используют «демократическую легитимность» в качестве аргумента в проведении «иллиберальных» (*illibérales*) реформ. В этом смысле все упомянутые режимы являются не антимодернистскими или квазитрадиционалистскими, а представляют отдельную ветвь развития демократии (подобно тому, как, согласно Розанваллону, Третий рейх или Советский Союз были своеобразной «патологией развития» идеи народного суверенитета).

Вторая и, на наш взгляд, наиболее содержательная часть ВГ посвящена именно исследованию исторического механизма президенциализации. Розанваллон показывает, что «цезаристский поворот» не означает возвращения к Старому Режиму и не ведет с необходимостью к диктатуре, а является чем-то вроде парадокса демократических обществ, который проявляется по мере того, как в политический процесс вовлекаются все более широкие слои населения. Если изначально требование расширения избирательных прав было частью «прогрессивистской» повестки, то в ходе ее практического осуществления к принятию политических решений (по меньшей мере в режиме «авторизации») оказываются причастны более консервативные «низшие классы». По этой причине «плебисцит» во Второй империи становится именно инструментом «иллиберализма», а не средством защиты прав и свобод (поэтому ключевой реформой Третьей республики как социалисты, так и республиканцы считали всеобщее и обязательное обучение в «республиканском духе»¹¹). Этот парадокс вполне подходит для описания феномена актуального правого популизма, только под «вовлечением» в политику подразумевается не наделение избирательными правами *de jure*, а активное участие в политике *de facto* (если принимать тезис о том, что базовый электорат новых популистов составляют группы населения, ранее не принимавшие участия в выборах).

Бонапартизм был бы невозможен без процедуры плебисцита, которая рассматривалась как своего рода противовес «новой аристократии» представительских органов, очень быстро столкнувшейся с «дефицитом легитимности». Для объяснения феномена цезаризма Розанваллон использует термин «человек-народ» (*homme-peuple*), подразумевая, что «первое лицо» не только символически (подобно средневековому «телу короля»), а реально воплощает «всеобщую волю». По сути, она сформулирована уже в Первой империи, но теоретически будет обосо-

11. Если использовать прием Розанваллона и вписать в общую тенденцию развитие советской политической системы, то сталинский «консервативный поворот» можно объяснить демократизацией общества.

вана после «18 брюмера Луи Бонапарта»¹². «Природа демократии состоит в том, чтобы быть персонифицированной в одном человеке», — скажет Луи Бонапарт (р. 315). По этой причине демократическая легитимность во Второй империи обеспечивалась не через парламентские дебаты, а через регулярный плебисцит. Именно Вторая империя закладывает основу принципиально новой формы демократического правления, которую Розанваллон называет «демократией авторизации» (*démocratie d'autorisation*). Ее преимущество над классическим парламентаризмом (реализованным в британской модели) состоит в том, что хотя она и может, как во Второй империи, принимать форму «иллиберальной демократии» (*démocratie illibérale*), но при этом вовлекает в процесс решения ключевых вопросов государственного устройства значительно больший процент населения. Это создает своеобразную «сверхлегитимность» (*hyper-légitimité*), на которую не может рассчитывать ни один парламент.

Тем не менее институт президентства в современном смысле слова сложился значительно позднее: президентские выборы 1848 года Розанваллон называет фальстартом президентской концепции демократий. Подлинной моделью президентской демократии станет конституция Пятой республики, разработанная в окружении де Голля. Ключевым признаком «президентской модели» является всеобщее и прямое голосование, а само принятие новой конституции будет произведено посредством плебисцита — ситуация, не имевшая до сих пор прецедентов. Выборы президента США в XIX и первой половине XX века нельзя рассматривать как исключение, так как они производились посредством выборщиков и, с точки зрения Розанваллона, стали аналогом «прямых и всеобщих» только после введения процедуры праймериз. Идея прямых президентских выборов, которую сегодня никто не решается ставить под сомнение, в начале 1960-х вызвала отторжение политического класса: Раймон Арон критиковал «деспотическую конституцию» и «загадочную легитимность», поставленную выше принципа равенства, будущий президент Миттеран называл ее «перманентным государственным переворотом», а Коммунистическая партия Франции выступала в качестве одного из главных защитников классического парламентаризма. За шесть лет до мая 1968, напоминает Розанваллон, стены французских городов украшали граффити «Нет плебисциту!» (р. 146).

12. Сам термин «человек-народ» не является историческим. Розанваллон вводит его для обозначения новой политической фигуры, претендующей на «надынституциональный» статус но по причине того, что «общая воля» наделяет его сверхлегитимностью. Розанваллон подчеркивает, что критики голлистской президентализации указывали именно на опасность превращения президента из главы исполнительной власти в некий высший авторитет, не только угрожающий принципу разделения властей, но и противоречащий фундаментальной идее равенства. В случае ее реализации президент получает право говорить от имени «общей воли» и «общих интересов» не только с представителями других государств, но и с собственным парламентом. Розанваллон приводит риторические ходы из речей Сталина: «партия полагает, что...», «партия постановила» или «массы ожидают...» в качестве типичных примеров дискурсивных практик политического режима, в котором ключевую роль играет фигура «человека-народа» как субъекта коллективных высказываний (р. 317).

Розанваллон объясняет радикальный смысл «голлистского» поворота следующим образом: первый президент Пятой республики считал парламент «объединением делегатов частных интересов», тогда как президент, по его мнению, «естественным образом» представлял общую волю и служил олицетворением единства страны. Именно этот момент политического, а не символического «воплощения» воли нации придает президенту легитимность, которая ставит его выше партий. В определенном смысле де Голль произвел переворот не менее радикальный, чем Шмитт или Ленин, но если «суверенная диктатура» или «диктатура пролетариата» неизбежно вели к упразднению парламентаризма, то президентализация создает дуалистический режим, существующий в условиях постоянного риска «конфликта легитимностей».

В отличие от критиков де Голля, Розанваллон не считает французскую президентскую модель чем-то вроде «республиканской монархии» (по определению Дюверже). Он не рассматривает ее как злокачественную «патологию» идеи народного суверенитета¹³, наподобие национал-социализма или большевизма, хотя за президентскими конституциями всегда будет маячить «призрак цезаризма». Президентализация по французскому образцу принципиально отличается от межвоенного «вождизма», мирно доживавшего свой век в Испании Франко или Португалии Салазара. Ее сильной стороной является как рутинный характер смены президента, так и его конституционный статус гаранта политического единства страны. В последней трети XX века эта модель получила распространение в мировом масштабе: от постколониальных африканских режимов до Латинской Америки и постсоветского пространства утверждается процедура прямых президентских выборов. Полномочия президента США также постоянно расширялись со времен Рузвельта, а одним из невыполненных обещаний Обамы была отмена указов Буша-младшего, направленных на дальнейшую президентализацию американской политической системы.

Но помимо очевидного риска «цезаризма», президентская модель имеет ряд существенных преимуществ, которые отвечают законным по букве и по духу требованиям демократической легитимности. Розанваллон называет три легитимных основания президентализации демократических режимов, соответствующих запросам общества. Во-первых, это запрос на повышенную ответственность власти, практически нереализуемую в «безличной» парламентской модели, в рамках которой можно производить бесконечные модификации комитетов и министерств, не меняя основной вектор политики. Во-вторых, это запрос на «учредительную волю демократического модерна», которая подразумевает возможность ускорения социальных процессов и также ассоциируется с конкретным лицом. Наконец, это требование большей прозрачности или, как выражается Розанваллон, «читаемости» (*lisibilité*) в процессе принятия решений, которую значительно затрудняет

13. Именно в этом качестве он рассматривает их в «Незаконченной демократии». См.: *Rosanvallon P.* (2000). *La Démocratie inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France*. Paris: Gallimard. P. 386–397.

чрезмерная профессионализация политики в условиях парламентских демократий.

Движение к президентской модели рано или поздно приводит к развилке, за которой возможен «цезаристский поворот». Но эта сверхлегитимность лидера, избранного всенародным голосованием, для Розанваллона является чисто функциональной, тогда как цезаризм «основан на смешении этой функциональной „сверхлегитимности“ (которая ведет к иерархизации власти) и ее демократического обоснования (justification), опирающегося на общую волю, которая сохраняет свою условную роль в рамках президентских выборов» (р. 166). Из этого следует необходимость «новой демократической революции», которую Розанваллон рассматривает как переход от «демократии авторизации» к демократии «исполнительной» (*démocratie d'exercice*). В противном случае критики «суверенных демократий» не смогут опровергнуть аргумент об очевидном преимуществе «цезаристских» режимов в степени общественной поддержки, особенно в тот момент, когда рейтинги правящих партий в странах «старой демократии» бьют рекорды непопулярности.

В третьей и четвертой частях ВГ Розанваллон пытается обрисовать контуры новой «исполнительной демократии». Помимо уже упомянутых «читаемости» и «ответственности», это «способность к реакции» (*réactivité*), вполне достижимая в рамках партисипативной демократии с развитием новых технологий. Важной для новой модели является и необходимость «говорить правду» (*parler vrai*), которая, впрочем, является вполне традиционной фигурой демократических режимов (Розанваллон с отсылкой к Фуко вспоминает об античных «паррезиастах», а также о революционных обличителях политической риторики)¹⁴, а также их «неподкупность» (здесь он выражает надежду на повышение прозрачности политической системы, и таким образом круг замыкается).

Относительно этого проекта, который сам автор скромно называет «наброском», мы можем только повторить оценку, высказанную в начале этого обзора: он гораздо менее убедителен, чем предложенный в ВГ исторический анализ. С учетом того, что Розанваллон не прописывает конкретных мер по имплементации предложенных им принципов «исполнительной демократии», ее можно было бы охарактеризовать как «демократию благих намерений». Теоретические рамки, в которые он пытается поместить новую теорию демократического управления, также вызывают ряд вопросов. Например, не совсем понятно отсутствие ссылок на фукольдианскую теорию «гувернаментальности» (*gouvernementalité*), особенно

14. Для Розанваллона важно, что Фуко подчеркивает противопоставление в дискурсивных практиках греческих полисов «паррезии» или необходимости «говорить правду» как морального изменения политической жизни риторике, как проявления соревновательного или «агонистического» начала (р. 328). Для самого Фуко этот термин играет фундаментальную роль в анализе практик «установления истины» (*véridication*) и формирования гувернаментальных техник (см.: *Foucault M. (2008). Le Gouvernement de soi et des autres: cours au Collège de France, 1982–1983. Paris: Gallimard; рус. пер.: Фуко М. [2011]. Управление собой и другими: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1982–1983 учебном году / Пер. с франц. А. В. Дьякова. СПб.: Наука.*

с учетом того, что Розанваллон был постоянным слушателем курса Фуко в Коллеж де Франс, а сам мэтр одобрительно отзывался о его ранних работах 1970-х годов. Точную причину подобного замалчивания понять достаточно сложно, возможно, сам автор прояснит ее в следующих работах анонсированного цикла.

Было бы небезынтересно ознакомиться с более полным анализом эволюции советской и постсоветской политической системы, так как Розанваллон, являясь ярким представителем «второй левой волны» (*deuxième gauche*), постепенно дрейфовавшим к неолиберализму, знаком с трудами Ленина и в достаточно общих выражениях критикует постсоветские «суверенные демократии», но никак не объясняет связь между ними. С одной стороны, на каждом отдельном этапе он удачно вписывает их в широкий политический контекст, с другой — не пытается объяснить характер этого перехода. Как и в более ранних исторических работах, сравнительный анализ Розанваллона в основном сфокусирован на французской и англосаксонской моделях демократии, тогда как в немецкой или советской моделях его интересует скорее их «тератологический» аспект. Но, как нам представляется, именно подробный анализ влияния голлистской президентализации мог бы дать ключ к пониманию формирования режимов «суверенной демократии» (например, влияние конституции Пятой республики на российскую конституцию 1993 года).

Наконец, в своих размышлениях о «достойном правлении» или «хорошем правительстве» Розанваллон не решает на один очевидный, с нашей точки зрения, ход. Он ни разу не задается вопросом: а возможно ли эффективное управление без всякой демократии? В его сравнительных исследованиях никак не упоминается Южная Корея или Сингапур, осуществившие технологический и экономический прорыв в условиях диктатуры¹⁵. И не станет ли выбор между народным суверенитетом и эффективным управлением «проклятым вопросом» будущего... На него сегодня можно было бы ответить примерно так же, как известный теоретик «преодоления демократии» отвечал на вопрос о сроках перехода к высшей стадии коммунизма: «...этого мы не знаем и знать не можем»¹⁶.

Впрочем, он говорил это до того, как пришел к власти. Как замечает Розанваллон в конце книги, обещание — побочный продукт системы конкуренции, но в политике конкуренция работает иначе, чем в экономике. В экономике для привлечения клиентов понижают цены, а в политике, напротив, повышают ставки и обещают больше, чем другие претенденты на власть. Расширение горизонта ожиданий является важным элементом «демократического прогресса» и неотъемлемой чертой политического модерна. Поэтому «высшая стадия коммунизма» или осуществление «американской мечты» должны быть запланированы и сбыться в положенный им срок. Ведь в политике, завершает свои рассуждения на лирической ноте Розанваллон, вспоминая строки забытого поэта: «Нет никакой любви, есть только ее доказательства» («Il n'y a pas d'amour mais que des preuves d'amour»).

15. При этом Япония могла бы служить примером «ограниченной демократии», во многом сходной с турецким или российским режимами.

16. Ленин В. Указ. соч. С. 96.

The Ghost of Cesarism and the Fourth Dimension of Democracy

Evgeny Blinov

Associated Member, ERRAPHIS, Université de Toulouse 2

Adress: 5 allées Antonio Machado, F-31058 Toulouse cedex 9, France

E-mail: moderator1979@hotmail.com

Review: Pierre Rosanvallon, *Le bon gouvernement* (Paris: Seuil, 2011).